

А. В. РЫТОВ

**В ПОИСКАХ СОЦИАЛЬНОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛИКА
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 20-х — НАЧАЛА 30-х гг.**

До недавнего времени, на волне исторических «разоблачений», история межвоенного периода, роль и место партии в системе социально-политических процессов того времени, подавалась в весьма однообразном свете. Лейтмотивом исследований, посвященных проблеме складывания тоталитарной системы в СССР, являлось обязательное противопоставление власти и общества, как злого и доброго начал, а в методологическом плане доминировала установка на изучение «неживых» общественных структур (бюрократии, номенклатуры, партаппарата), что было вполне естественно в условиях модернистской традиции. А между тем именно в установлении контакта, диалога, с людьми других эпох заключается конечный смысл деятельности историка, ведь в контексте исторического исследования рассмотрение «внутренней» точки зрения людей изучаемого общества, их миропонимания, менталитета, диктуется необходимостью объяснить их поведение, и таким образом, понять сущность происшедших процессов¹.

Антропологический поворот, продиктованный ситуацией постмодерна, существенно меняет наше отношение к людям тоталитарной эпохи, позволяет раскрыть внутренние мотивы их мышления и поведения, характерной чертой которых был «не страх перед воронком», а стремление «достичь внутреннего равновесия, ради которого человек готов идти на глубокие и радикальные искажения реальности». Теперь, заглядывая «изнутри», энтузиазм тоталитарной личности представляется совершенным, полным смысла. Поведение людей тоталитарной эпохи «не нуждается ни в каком рациональном обосновании, не тем более в критике»². Установка историка на выявление скрытых символов и ритуалов, которые регулируют социальное поведение в обществе таким образом, позволяет увидеть «естественность» про-

цессов взаимодействия власти и общества, их неразрывную связь и взаимную опосредованность.

Очевидно, что для того, чтобы уловить сущность исторических процессов, «нужно прислушаться к голосам людей, представляющим различные социальные слои» и обусловившим специфику формирования новой системы отношений в обществе. Изучение социальных сдвигов в постреволюционном обществе, таким образом, должно стать центральной темой социальной антропологии.

Исследования такой направленности показали, что зарождение основ менталитета «тоталитарного человека» происходило уже в период Первой мировой войны, когда «происходила эволюция массового сознания низов в направлении возрастающей радикализации, мобилизации традиционных крестьянских (общинных) установок мировосприятия, ценностей социальной справедливости и равенства», «закладывая будущие основы менталитета и социального поведения нового и весьма специфического социума — «советского человека»³. Несомненно, что процессы «тоталитаризации» являлись «отголоском острых классовых конфликтов дореволюционной российской действительности, революции, гражданской войны». Социальной базой тоталитаризма были «наиболее неимущие слои, люмпены города и села, представители различных социальных групп, отличающихся аморфностью и ненавистью к другим группам»⁴. Рост «тоталитарных настроений» связан с «определенными социально-демографическими процессами, центральное место среди которых занимала маргинализация населения, формирование «нового пролетариата», «псевдоинтеллигенции» и так называемой «селькомовской молодежи» — «антикулацки и антиэнпмановски настроенных 20—25-летних людей»⁵.

Бесспорно, что центральную роль в этих процессах играла коммунистическая партия, социальные и ментальные структуры которой, с одной стороны, «служат индикатором социальной политики руководства страны и отражают распространение партией своего влияния на все сферы

общественной деятельности, с другой стороны, изменения в социальном составе партии отразили и социальные процессы в обществе, частью которого она была»⁶. Традиционно эти внутривнутрипартийные процессы связываются с феноменом «перерождения» партии: «сокращением «старых» большевиков, ее «плебейзацией», связанной с массовым приемом в партию, «юношью» партийного состава и его общеобразовательной и политической неграмотностью»⁷. Привлечение статистических данных, таких, как материалы общенациональных, отраслевых, профессионально-должностных переписей, а также мас-

совых источников, например анкет делегатов партийных съездов, а также использование количественных методов обработки этого материала способно выявить направленность, масштаб и специфику этих процессов в Беларуси.

Исследование динамики возрастного состава партии в 1920-х — начале 30-х гг. отражает общенациональные демографические тенденции, существенной чертой которых было общее «омоложение» населения, характеризовавшееся, с одной стороны, сокращением населения для возрастных групп 5—9 лет и 30—49 лет (а для мужчин — и более «старших» возрастных групп), с другой — увеличением удельного веса молодого населения в возрасте от 15 до 24 лет. Молодежь все увереннее вливалась в рабочий класс и органы власти. К концу 1920-х гг. самая большая группа промышленных рабочих состояла из людей в возрасте от 25 до 30 лет. В структурах власти на уровнях сельского, волостного и городского представительства также доминировали люди в возрасте до 30 лет⁸. Еще до осуществления «ленинского призыва» 57 % членов партии составляли люди в возрасте от 20 до 30 лет. 39 % принятых в партию по «ленинскому призыву» относились к группе в возрасте от 24 до 30 лет, если же включать сюда более юных новобранцев партии, то получается, что 62 % принятых в партию в 1924 г. были моложе 30 лет. В целом же, исходя из анализа анкетных данных делегатов съездов на протяжении 1920-х — начала 30-х гг., возрастные показатели сохраняют характерную тенденцию к «омоложению». Так, исходя из совокупности 3477 анкет, лежащих в основе исследования, следует, что 67 % делегатов съездов КП(б)Б в указанный период были моложе 34 лет⁹. Это говорит о высокой роли молодого поколения в партийной и общественной жизни.

Такое «омоложение» населения, выдвижение молодых людей в органы власти, в партию, стало своеобразным «бунтом молодежи», обусловившим общее падение роли традиций, престижа старшего поколения, а главное — формирование благоприятной почвы для тоталитарной мифологии, которая «с энтузиазмом воспринималась еще не освободившимся от детской наивности сознанием»¹⁰. В исторической психологии считается, что тоталитарное сознание, позволяющее человеку не видеть очевидного и верить в невероятное, во многом напоминает сознание ребенка¹¹.

Усиление общественно-политической активности молодого поколения объясняется и следствием десятилетий непрерывных военных скитаний более зрелого поколения, его «усталостью». На VI съезде КП(б)Б двадцатилетний секретарь городского райкома И. Вайнер отмечал, что «в армейских частях мы имеем усталость кандидатов, особенно старых возрастов, которые желают демобилизоваться». Дискуссии 1920-х гг. в определенной сте-

пени являлись и конфликтом поколений: «надо положить конец мешанию оппозиции нашей работе, если старая гвардия будет мешать, надо будет расправляться». Анализ записок, поданных докладчикам на ячейковых закрытых собраниях по вопросу о выступлениях оппозиции, показал, что «молодые члены партии чувствуют опасность оппозиции, а старые члены партии этого не чувствуют». «Скажите пожалуйста, для чего у нас в партии существует комитет старых большевиков? — вопрошал один молодой коммунист, — мы, молодые члены партии, оппозицию осуждаем, но не знаем, что делают в комитете старые большевики... не они ли выковывают оппозицию».

Изучение образовательного уровня населения и политической грамотности его наиболее активной части способно приблизить исследователя к пониманию социально-культурных процессов 1920-х гг. Так, на фоне низкого уровня грамотности населения, и в особенности его белорусской части, зафиксированного переписью 1926 г., на всем протяжении 1920-х гг.

наблюдается постепенное снижение представительства людей со средним и высшим образованием, занятых как на советской, так и на партийной работе. Если в первой половине 20-х гг. максимальный процент членов городских Советов депутатов с низшим образованием колебался от 48 до 71 %, то в 1927 г. в некоторых уездах он превышал 90 %¹². Исследование анкет делегатов партийных съездов подтверждает указанную тенденцию постепенного снижения доли людей с «высшим» и «средним» уровнем образования при значительном увеличении представителей «низшего». Необходимо отметить, что данный процесс отражал и скрытую тенденцию к закреплению в социально-культурной практике установки на «простого» человека, который «в университетах не обучался», как эталона подлинной доброты и нравственности. «Умышленное» занижение уровня образования делегатами партсъездов, зафиксированное во время обработки анкет, отражает скрытые способы социального общения людей тоталитарной эпохи.

Другой важной чертой образовательной стратификации общества явилось снижение числа малограмотных людей, записывавшихся в графу «домашнее образование». Количественный анализ образовательного уровня делегатов партсъездов на протяжении 1920-х — начала 30-х гг. установил сильную отрицательную связь между показателями «низшего» и «домашнего» образования. Такая зависимость говорит о постепенном снижении доли фактически необразованных людей, в силу их массового приобщения к азам знаний и стремительного продвижения от неграмотности к полуграмотности. Как показали исследования известного психолога А. Р. Лурия, такого рода «культурный скачок» деформирует всю структуру познавательных про-

цессов: теряется характерная для «традиционного» сознания осторожность, недоверчивость, «приобщенные» к грамоте становятся особенно доступными воздействию слова, символов, официальных источников информации¹³. В период дискуссий 1926—1927 гг., при отсутствии какой-либо альтернативной точки зрения многие члены партии, даже не задумываясь в правильности или неправильности «линии ЦК», интуитивно шли за большинством: «трудно ориентироваться ввиду нашей слабой подготовки, — писали в резолюции члены Копаткевичской районной организации, — но мы в душе за большинство ЦК».

Под влиянием социально-экономических противоречий нэпа и впоследствии индустриализации начиная с середины 1920-х гг. происходит массовый отток людей из деревни в города, сопровождавшийся формированием нового типа рабочих, по терминологии того времени, «новых слоев рабочих». Увеличение неоднородности рабочего класса обостряло социальные конфликты, а главное — формировало «массовую социальную опору сталинизма в виде наиболее неквалифицированной, наиболее бедной и зависимой от государства-работодателя, наиболее униженной экономически и наиболее амбициозной в политическом отношении категории промышленных рабочих»¹⁴. Внутри самого рабочего класса также существовало своеобразное ранжирование профессиональных групп по степени близости к «большевистскому типу ментальности». Бесспорно, что «чертами наибольшей сознательности наделялись преимущественно металлисты»¹⁵. Как показало исследование анкетных данных делегатов съездов КП(б)Б, «мода» на «металлические» профессии ощущалась и там, где доминировали совсем другие отрасли промышленности. В профессиональной структуре делегатов-коммунистов, как ни парадоксально, с огромным отрывом доминирует металлообрабатывающая (40 %). В этом необходимо видеть скрытые средства социального общения: записываясь под одной из профессий «металлического» разряда (слесарь, токарь, электромонтер, литейщик, кузнец, либо собирательно — «металлист»), человек тем самым стремился показать или ощутить свою причастность к атрибутам «моды» или «престижа».

Миграция в город позволяла не только получать более высокий заработок на заводе, но и возможность продвижения в сфере управления. Несомненно, что «не меньшее, а возможно и большее воздействие на характер режима оказывали не «новобранцы индустриализации», а «новые кадры управленческого аппарата, быстро формировавшаяся новая “псевдоинтеллигенция”». Статистика выборов в Советы и формирования исполкомов этих Советов дает наглядное представление о масштабах этого процесса. Суще-

ственное доминирование крестьянского элемента на волостном (81 %) и уездном (52 %) уровнях власти наблюдалось еще до середины 1920-х гг., после проведения районирования социальный состав регионального уровня власти не меняется: 60 % и 40 % соответственно¹⁶. Специфической чертой маргинализации в белорусских условиях было совпадение социальных и национальных процессов: «окрестьянивания» и «коренизации».

«Плебеизация» партии, выдвижение в различные сферы производства и управления молодых людей, которые в силу своей «полуобразованности» готовы идти против традиции и авторитета старшего поколения — вот основные черты социальных процессов, определявших форму и содержание знаково-символического пространства тоталитаризма. Характерными чертами «тоталитарного сознания» были «вера в простоту мира, недооценка знаний, формирование упрощенных стереотипов «плохое — хорошее», «свои — чужие», «капитализм — коммунизм». По мнению психологов, упрощение, как принцип социальной рефлексии, является краеугольным камнем в основании «тоталитарной картины мира»: «чем больше осей в когнитивной системе человека, тем более сложную и противоречивую (а значит, более рационалистическую) картину мира способен отразить субъект. Простая одна — двухмерная модель приводит к тому, что случайные и многозначные связи между явлениями произвольно закрепляются, один вариант их объявляется правильным, все остальные — девиациями /.../ в отличие от рационалистической науки, которая отрицает непознаваемость, тоталитарное сознание не приемлет и непознанность. Мир не только прост, но уже и познан». Именно в «крайней простоте и невероятном схематизме» заключалась «сила сталинской позиции», которая идентифицировалась с «центризмом», исходившем из ЦК»¹⁷. Упрощение действительности, укрепление в сознании общества образа врага-вредителя и определили в конечном счете «трагедию 30-х гг.».

Контент-анализ выступлений делегатов на съездах КП(б)Б позволил выявить тезаурус этого символического пространства. Весь комплекс категорий можно объединить вокруг двух основных групп, «положительной» и «отрицательной». В положительную группу социальной символики вошли такие категории, как «сила», «единство», «здоровье», «позитив», в отрицательную — «слабость», «разъединение», «болезнь», «негатив». Кроме того, выделяются такие высокочастотные категории, как «враг», «угроза», «борьба». Динамика их упоминания способна раскрыть существенные стороны организации знаково-символического поля тоталитаризма в 1920-х гг.

Необходимо отметить, что именно в таких символических конструктах, как «единство—разрозненность», «твердость—мягкость», «сила—слабость»

описывается история большевистской организации с самого ее рождения — символического выделения сторонников «твердой линии» на II съезде РСДРП. Вокруг таких понятий, как «единство», «твердость» и «сила», происходило построение знакового пространства исторического X съезда партии. В своих выступлениях В. И. Ленин неоднократно останавливался на смысловой связке «единства и силы», подчеркивая, что «как бы дискуссия не проявлялась, как бы мы не спорили, а перед нами столько врагов... что нам [надо] /.../ чтобы наша работа была более сплоченной, более дружной, чем прежде». Знаковым в нашем понимании необходимо считать и резолюцию «О единстве партии». Об опасности принятия подобных резолюций предупреждала на съезде «рабочая оппозиция», в частности вполне «резво» указывалось, что «эта резолюция берет голый принцип единства» и что «резолюция «О единстве партии» предлагает достичь этого (то есть единства. — А. Р.) лишь путем формального провозглашения необходимости единства»¹⁸. Однако «в тоталитарном сознании символическое становится важнее реального»¹⁹, то есть достаточно принять «магическую» резолюцию и можно добиться желаемого единства. Что и продемонстрировал X съезд.

Мотив «единства» и впоследствии являлся стержнем символической структуры информационно-знакового пространства правящей партии. Этот символический ряд содержится не только в официальных текстах того времени. В прениях по вопросу о последних выступлениях оппозиционного блока на собрании Минской парторганизации (1926 г.) абсолютное большинство высказываний построено вокруг темы «единства»: «если блок — это раскол партии, борьба против единства партии, ее лидеры хотят расколоть нашу партию»; «если они оппозиционеры и подрывают единство нашей партии и неоднократно, то нужно принять более серьезные меры»;

«довольно партию трепать, международное положение требует от партии максимум единства и энергии в строительстве социализма»; «исключить их (оппозиционеров. — А. Р.) из партии, добиться полного единства»; «лозунг должен быть у партийца — единство партии» и т. д.

Необходимость борьбы против внутренней или внешней угрозы было главным условием «единства» и «силы»: «политически товарищи укрепляются тогда, когда ведут обостренную борьбу, если эта борьба ослабляется, то наши члены становятся слабее». Феномен «обострения классовой борьбы по мере успехов социализма», таким образом, приобретает совсем другой смысл и является естественным в данных условиях (сравни, Р. Платонов: «тезисы Сталина об обострении классовой борьбы имели своей целью искусственное нагнетание атмосферы социального противостояния»²⁰).

«Детективные» сообщения об активности враждебного класса обязательно несли в себе и прямые указания на социальную атрибутику врага: «председатель Освейского райисполкома, член КПБ с 20-го года, по национальности поляк, до революции был конторщиком в имении, женат на дочери помещика, держит связь с кулаком-мельником, к которому с техником заезжает пьянствовать, а также связан с крупными хуторщиками из бывшей шляхты». В аванюре замешаны не только такие «неблагонадежные элементы», как конторщик, помещик, кулак, мельник, техник, хуторщик, но и члены партии, комсомольцы. Такое «небольшевистское» поведение членов партии связывалось в символическом ключе с проникновением «разлагающей болезни» или «заразы» и определяло необходимость «излечения», «очищения организма» от этого недуга. Дихотомия «здоровье—болезнь» — это еще один элемент символического пространства тоталитаризма, роль «санитара на красных санях» в котором выполнял Контрольный Комитет, а в качестве целебного средства выступала «чистка». Главной функцией ЦКК была борьба «против внедрения в ряды партии бацилл мещанства /.../ путем проведения операции по чистке»²¹. В то же время способы излечения занимали умы и рядовых членов партии: «здесь пожалуй уместней было бы применить хирургический способ и срезать сразу нарыв со здорового тела, а не давать возможности забираться во внутрь»; «нам тяжело развиваться, ее (оппозицию. — А. Р.) надо вырезать хирургически»; «партия наша больна, партию треплет лихорадка, надо не допустить этот злокачественный материал» и тому подобное.

Как единственное и самое «верное» средство от «болезни» — чистка, в качестве очередного сверхсимволического конструкта глубоко укоренилась в жизнь советского общества 1920—30-х гг. Знаковыми моментами советской истории становятся общесоюзные чистки партии, фактически каждая из которых делит историю КП(б)Б — ВКП(б) на две последовательные фазы «набора», «впитывания сырого материала» и последующего «очищения», «чистки организма от вредного и заразного элемента». Само описание социальной реальности партийными функционерами проходило в рамках этой символической системы: «слабость»—«заражение»—«распад»—«очищение»—«выздоровление». (Из речи Кнорина на V партсъезде: «В Минскую уездную организацию прошлого состава вошли люди, вышедшие из мелкобуржуазной среды (“заражение”—“распад”). Мы получили в течение истекшего года распад этого комитета (“очищение”—“выздоровление”). Два члена этого комитета были арестованы /... / и исключены из партии во время чистки, оказалось необходимым еще трех членов укома исключить. После

чистки уездной организации от негодных элементов мы имеем сейчас партийный аппарат уезду вполне соответствующий своему назначению /.../ проделанная работа сделала эту организацию твердой и положительной». Партия, таким образом, да и все общество в целом через элемент «очищения» вступало в новую фазу «силы». В 30-х гг. символика «очищения» уже безраздельно господствует во всем обществе, апогеем такого построения социальной реальности являются известные события 1937 г.

Изучение глубинных социальных, психологических процессов, лежащих в основе советского социально-культурного организма, таким образом, является необходимым условием исторического исследования. В отличие от устоявшихся упрощенных характеристик, можно утверждать, что феномен тоталитаризма представлял из себя сложное и противоречивое явление. Изменение социальной стратификации общества привело к смене его знаково-символического

пространства, основными чертами которого стала крайняя поляризация иерархической картины мира вокруг дихотомии «добро» — «зло». Психологически такое упрощение являлось способом достижения внутреннего комфорта. Искаженное, воображаемое, таким образом, становилось важнее реального. Все «издержки» тоталитарной эпохи должны непременно учитывать эту «сверхсимволичную» природу и рассматриваться сквозь призму данной системы значений и ритуалов, регулировавших социальное поведение. И если в историографической традиции XX в. преобладали традиционные, модернистские принципы познания, рассматривающие прошлое как объект, необходимый для разрешения морально-психологических противоречий современности, то современные, постмодернистские принципы диалога, субъектно-субъектных отношений между историками и людьми прошлого, дают возможность раскодировать символически.

¹ Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2—3. С. 33.

² Гозман Л., Эткин А. Культ власти. Структура тоталитарного сознания // Осмыслить культ Сталина. М.: Прогресс, 1990. С. 337—372.

³ Поршнева О. С., Поршнев С. В. К характеристике менталитета народных масс России: революция 1917 г. в фокусе массового сознания рабочих, крестьян и солдат (опыт многомерного статистического анализа писем в центральные органы Советов рабочих и солдатских депутатов) // Круг идей: историческая информатика на пороге XXI века. М.; Чебоксары, 1999. С. 150.

⁴ Протьюко Т. С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917—1941 гг.) / Т. С. Протьюко. Минск: Тесей, 2002. С. 21.

⁵ Кузнецов И. С. Проклятьем заклеенные? Социально-психологические предпосылки российского тоталитаризма. Новосибирск, 1994. С. 62—63, 65.

⁶ Кузнецов И. В. Коммунисты центрального промышленного района в двадцатые годы, социальный портрет по материалам всесоюзной партийной переписи 1927 года // Круг идей: макро- и микроподходы в исторической информатике. Труды V конф. АИК / Ред. Л. И. Бородин, В. Н. Сидорцов, И. Ф. Юшин. Минск, 1998. С. 155.

⁷ Верт Н. История Советского государства. 1900—1991 гг.; Пер. с фр., 2-е изд. М.: ИНФРА-М, Изд-во «Весь Мир», 2000. С. 197—198.

⁸ Всесоюзная перепись населения 7 декабря 1926 года. Краткие сводки. Вып. 5. Возраст и грамотность. Европейская часть РСФСР и Белорусская ССР. М.: ЦСУ СССР, 1928. С. 5; Рабочья цензавай прамысловасці БССР (па матэрыялах папярэдняй распрацоўкі перапісу рабочых цензавай прамысловасці, чугуначных майстэрняў і дэпо, вытворанаму ў лютым 1930 г.). Мн.: Дзяржплян БССР, 1930. С. 4—5; Статистический Ежегодник 1923—1924 гг. Минск: ЦСУ БССР, 1925. С. 418—425.

⁹ В исследовании используются материалы Национального архива РБ (далее — НАРБ): ф. 4-п, оп. 2, д. 12, 15, 16, 19, 24, 25, 35, 36, 42а, 46, 58, 59, 64, 65, 86, 102, 103, 104, 105; оп. 3, д. 12; оп. 5, д. 113, 245, 384, 386, 388, 395, 398, 400, 612.

¹⁰ Кузнецов И. С. Проклятьем заклеенные? Социально-психологические предпосылки российского тоталитаризма. Новосибирск, 1994. С. 62—63.

¹¹ Гозман Л., Эткин А. Культ власти. Структура тоталитарного сознания // Осмыслить культ Сталина. М.: Прогресс, 1990. С. 337—372.

¹² Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. X. БССР, Отдел 1: Народность, родной язык, возраст и грамотность. М.: ЦСУ СССР, 1928. С. 66—69; Статистический Ежегодник 1923—1924 гг. Минск: ЦСУ БССР, 1925. С. 418—425; Статистический ежегодник 1924—1925 гг. Вып. 1. Минск: ЦСУ БССР, 1926; С. 148—149; Статистический ежегодник 1925—1926 гг. Минск: ЦСУ БССР, 1928. С. 170—171.

¹³ Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование. М., 1974. С. 105—119.

¹⁴ Соловьев Э. Ю. Правовой нигилизм и гуманистический смысл права // Квинтэссенция. Философский альманах. М., 1990. С. 170—180.

¹⁵ Яров С. В. Пролетарий как политик: Политическая психология рабочих Петрограда в 1917—1923 гг. СПб.: ИРИ РАН, Санкт-Петербургский филиал, 1999. С. 24—25.

¹⁶ Статистический Ежегодник 1923—1924 гг. Минск: ЦСУ БССР, 1925. С. 418—425; НАРБ. Ф. 4, оп. 5, д. 395, л. 30.

¹⁷ Верт Н. История Советского государства. 1900—1991 гг. М., 2000. С. 198.

¹⁸ Десятый съезд РКП(б): Стенографический отчет. М., 1963. С. 1—2, 16—19, 286.

¹⁹ Почепцов Г. Визуальное и вербальное пространство тоталитаризма // Философская и социологическая мысль. 1993. № 6. С. 34; Он же. Тоталитарный человек. Очерки тоталитарного символизма и мифологии. Киев, 1994. С. 67.

²⁰ Перед крутым поворотом. Тенденции в политической и духовной жизни Беларуси (1925—1928 гг.): отражение времени в архивных документах / Авт. и сост. Р. П. Платонов и др.; под ред. Р. П. Платонова. Минск, 2001. С. 8.

²¹ XI конференция Коммунистической партии Белоруссии (15—19 марта 1922 г.). М., 1922. С. 24.